

1.

Здравствуйте, вы уже второй день едете по нашему бесконечному Транссибу? Ну и садитесь всегда к этому моему столику. Вагон-ресторан истрёпан, но уютный, и хозяйшкн тут приветливые. Им дорога как обои кухонные, они уж её не замечают; а к гостям интерес есть: ведь не меньше недели каждый едет, сродняется.

И вы в окно глядеть скоро притомитесь; виды долгие, калейдоскопные; любой калейдоскоп быстро сливается в однообразную пестроту. Хорошо, когда попадётся попутчик ненавязчивый и внимательный. Тогда спокойная дорожная исповедальность просыпается даже в таких молчунах, как я.

О себе? Не устанете? Что ж, пожалуй, и расскажу. Если мой коньячок вам не в тягость.

Я юрист; и я ненавижу своё дело. Потому что юрист может оценить любой предмет с прямо противоположных сторон. Со стороны добра и со стороны зла. Абсолютно любой. День, ночь, травинку, листочек. Дождь может быть и плохим, и хорошим. Солнце — и хорошим, и плохим. И всё можно доказать совершенно убедительно, взаимоисключаяюще; и своим доказательствам найти юридические нормы, все эти параграфы-подпараграфы, пункты-подпункты; и весь этот чудо-

вишный инструментарий предназначен для того, чтобы юрист мог по его хотению сделать доброе злым, злое добрым.

Примерно так, желчно-куражливо скучая, говорил я на своём пустяковом общественном лектории в один из прекрасных вечеров. Потом вольные слушатели и слушательницы разошлись, а одна вернулась за забытой тетрадкой и с улыбкой сказала, что нынешний вечер плох по таким-то, таким-то причинам, потому что, мол, интересная лекция слишком быстро закончилась; а хорош по таким-то причинам, потому что, видите ли, я ещё в аудитории.

Знаете, я был вообще-то выпивши. Моя успешная практика давала мне сие неозвученное и незлоупотребительное право, иногда спасающее от мрака жизни. Поэтому я запросто, как бы в благодарность, обнял весёлую слушательницу; обнял вполне крепко, засмеялся, пробормотал шутливый ответный комплимент; на том мы и расстались.

А на следующем лекционе, через пару дней, я сразу узнал её среди рядов, и она смотрела усмешливо, как-то слегка иронично, а потом задержалась и спросила, нельзя ли ей со мной прогуляться.

Мы погуляли, затем ещё и ещё; потому что, оказалось, ей гулять было не с кем, ну а мне и

тем более, одиночке-волкодаву, слишком озабоченному поисками-подменами добра и зла.

Она не принимала никаких угощений.

– Ты из тех дамочек, которые боятся, что их купят за тарелку борща? Покупают за бриллианты, а у меня их нет, но хоть и будь, не стану этого делать. Потому что тогда уже не любовь.

А когда мы наконец-то поцеловались на берегу мутной, но уже по-осеннему светлеющей городской реки, она сказала, что то моё объятие вдруг что-то сделало с ней, и она потом шла и ругала себя, говорила – какая же я, я так хочу этого выпившего лекционера, и за что непонятно, только лишь за то, что он обнял меня сильно-сильно.

И я, услышав это, снова её крепко обнял, и снова; и так завязалась наша вполне даже обыденная связь – не хочу сказать любовь.

2.

Да, конечно, это была не любовь с точки зрения наших доморощенных пуритан, у которых от ханжества даже физиономии кажутся покрытыми паутиной. Их врождённая ненависть к чувственной любви сочится из каждой морщины, из каждого взгляда; их мечты о вздохах на скамейке превращаются в закон, сурово декларируются – а у нас, по-ихнему, была, конечно же, похоть, конечно же, пошлая связь.

Нам казалось всё равно. Это, теперь понимаю, была любовь; естественная, чувственная любовь косновений. Женя на мой условленный телефонный сигнал почему-то не открывала дверь подъезда домофоном, а быстро выбегала с первого своего этажа, в секунду впускала меня, потом шутилой воровской походкой шмыгала в рискованно распахнутую дверь квартиры и там тянулась в долгом поцелуе.

А на кухоньке был расстелен раскладной диван, и Женя, ни слова не говоря, только счастливо улыбаясь, раздевалась раньше и быстрее меня. И никаких любовных прелюдий не требовалось, потому что она горячо шептала:

– Там тебя уже всё ждёт...

Я входил в неё, она складывалась перочинным ножиком; она была насквозь прозрачна, тонка, казалось, даже измождена, но та измождённость была сахарной, жгучей, прошиваемой чувственным током. И Женя испытывала оргазм за оргазмом, по нарастающей, со всё большим стоном, переходящим в крики от каждого моего толчка.

Через полчаса лежала, совершенно бессмысленно улыбалась, благодарно говорила:

– Искричалась...

Я приподымался на локте, любовался ею, ласково корил:

– Что ж ты делаешь, так всех соседей перепугаешь, они милицию вызовут, подумают, что здесь кого-то убивают.

– Пусть завидуют, – отвечала Женя.

Она жила с сынишкой и мужем, который неделями пропадал в каких-то авторемонтных командировках. Семилетний мальчик был в школе, нам требовалось уложиться в два часа, мы укладывались гораздо быстрее; и Женя деловито-неспешно одевалась, кормила меня яичницей, сама жадно-весело заглатывала горячие желточки, и мы выходили из её подъезда порознь и в разные стороны девятиэтажки, чтоб через минуту встретиться на другой стороне дома и шагать-брести к школе, смеясь друг дружке. Щёки её были алы, взгляд туманен и радостен.

– Какая я счастливая, какая же я счастливая, – секундно обрывая разговор, повторяла она. – Я уже и не мечтала.

Ей было около сорока, она лет на семь моложе меня. Замужество её не тяготило, Женя не работала, потому что муж запретил; он сам обеспечивал семью своими столичными командировками, был асом передового авто, умело ладил глянцевые громадины, заморские, миллионнорылые, со скучными и непонятными мне прозвищами, потому как я не могу, не желаю отличить даже трактора от велосипеда.

Так они и жили. Она сказала, что муж вообще-то её любит, но истязает копеечными отчётами, переживает, если бабка на рынке за какую-то там капустку не додаст ему в сдачу истёртую монетку, на целый день у него настроение портится.

Вскоре Женя познакомила меня с мужем, он глянул на мои обширные залысины, на трухлявую башку с давно облетевшей волоснёй, успокоился, понял, что я не соперник. Когда я выставил трёхзвёздочный коньяк, Андрей извинился, на пять минут вышел в ближний супермаркет и принёс коньяк пятизвёздочный. Я незаметно усмехнулся, она тоже, незаметно и виновато.

Потом у меня из холодильника выпали холоднокопчёные сардинки в бумажной коробке и чуточку взятые плесенью. Я в свою очередь

извинился, сказал, что только вчера это было куплено, и выбросил ту коробку с сардинами в мусоропровод.

Андрей вдруг спросил:

– А чек? Цел?

Я не сразу понял:

– Какой чек? А-а... Нет, я его прямо в магазине кинул в урну за кассой.

– Жалко, – сказал Андрей искренне. – Я бы обязательно вернул эти рыбки обратно.

Меня охватила некоторая оторопь, потому что такие люди всегда слегка пугают.

Ну ладно. Жмотство разлито по миру бескрайне, каждый второй поражён крохоборством. И вовсе не по нужде, а наоборот, из какого-то глубинного природного изъяна.

– Зато он вас обеспечивает, лелеет, – сказал я потом Жене в ответ на её неловкие оправдания.

– Да... И хорошо, что он отсутствует неделями, иначе я не смогла бы долго выдержать.

– И хорошо, что он не считает меня мужиком.

– Да, не считает. Да и чего там... Всё равно мы с ним почти не живём. К тому же, он и близко представить не может, какая я... с тобой. Я сама себя такой не знала, ни про что подобное не ведала.

– Сказать по правде, я тоже не знал такого редкостного счастья. Как его узнать... Люди думают, что надо совпадать характерами... По-моему, вовсе нет. Надо совпасть кровотоками. Чтобы все капилляры друг у дружки в один миг переплелись.

– Вот и давай дальше переплетать, раз совпали, – смеясь, прильнула она ко мне прямо на улице.

Женя любила интим в самых неожиданных местах, во время прогулок нового лета, где-то в зарослях заброшенных аллей, либо в духовитых метровых травах безлюдного речного обрыва, также в запертой аудитории или в моём мелком адвокатском кабинете у стола и пары стульев.

Откликнулась на объятия сразу, опять же без всяких прелюдий, лишь сказала как-то:

– Только не надо синяков от твоих железных пальцев. А то мой милый Дрю-дрю сразу поймёт, что у меня есть мужчина. Он любит меня разглядывать, как ту капустку на рынке, проверяет, не подешевил ли.

Она была абсолютно не извращена, и всё у нас происходило так чисто, с таким откровенным порывом, с таким взаимным любованием.

Мы расходились доверху налитые неизбывным счастьем, как бокал неизбывным драгоценным вином. То счастье изысканное и, наверное, единственное в мире.

Женю пьянили косновения, близкие взгляды, когда мы гуляли, сцепившись ладонями, как школьники. Я слегка стеснялся того, но Женя сказала, что ей нравится держаться за руки, подолгу целоваться на улице, и я больше не противился.

Может, меня тоже ослепило. Я в порывах нежности как-то не заметил, что она вообще-то довольно конвульсивная особа. Она рассказала, как шумит наверху сосед со своей электронной музыкой (ударение делала на «ы»), всепроникающей, современно-сволочной, не дающей спать её мальчонке, как она бесполезно ходила к соседу-наркомашке несколько раз, как просила сходить туда Андрея, но и тот не смог разобратся.

В конце концов случился вообще глупый скандал, когда Андрей, предупредивши соседа, вырвал ему электросчётчик. И сосед со своими гостёчками отдубасил Андрея бейсбольной битой. И был суд, и Женя вместе с Дрю ходила по квартирам оповещать свидетелей-соседей, и те свидетели, во время драки одобрявшие Андрея, сейчас отказались, и на суде было привычное дерьмо, когда оба обвиняли друг друга и оба оказались правы. Конечно, их заставили помириться, но музыки с «ы» время от времени возобновлялись, грохотали дотемна.

Я слушал её рассказы, мягко говорил, что зря это всё у вас, что любой сосед есть враг рода человеческого; что в то время, когда вы тратите себя на эти разборки, сосед со своими пришлыми сожителями, наркомашка, естественно прикормивший участкового, просто обретает смысл жизни в том скандале, и вы стали для него величайшим развлечением... Вот так. И к подобным соседям лучше относиться, как к непогоде. Просто прикрыться зонтиком, чтоб уменьшить зябкость до минимума.

А белокурая Женя на мои слова злилась, нервно отвечала:

– Что же, теперь ребёнку не спать по ночам?

Я не замечал этой нервозности, обнимал её, потому что её тело, её гладкие вибрирующие лопатки, сосочки меня магнетически притягивали, заставляли забывать всё.

Наши встречи состояли из бесконечных разговоров. Больше всего, каюсь, говорил я. Буровил много всякого ненужного. Когда она возражала, как-то её поправлял. Это ей дало законное право потом, через немало дней и месяцев, бросить мне:

– Ты мне не давал слова сказать.

Но это было после, после. Тогда же я изливался ей по причине того глупо придуманного мною чудесного кровотока, слияния капилляров. Я был довольно истоскован по родному слушателю, потому что говорил, как правило, перед людьми, меня не понимающими, делающими из услышанного абсолютно другие выводы. Ну господи, так оно в жизни сплошь. Лучше вообще-то не говорить много.

А слушать её я хотел; и она столь же охотно изливала сумбурные свои блондинистые откровения, для меня простые и уже чуть раздражающие. Я их терпел, отвечал обычными словами, выбирал попроще. Тем более, что главным оставались не слова, а прикосновения.

Женя не требовала рассказов обо мне. Хотя, может, зря. Я бы поделился, я поделюсь этим с вами, но позже. А тогда я толковал, как размышлял; о пустом, о только что увиденном или услышанном; и тут же, как и полагается, забывал свои слова-размышлизмы.

Она иногда вздрагивала от звонка мобильного, отходила в сторону, бормотала, затем возвращалась ко мне. Как-то одно письмо надолго привело её в замешательство. Она читала, перечитывала, растерянно молчала, потом уронила:

– Муж прислал... Всего одно слово: «сволочь».

Я не знал, что отвечать. И она не знала, что говорить. Потихонечку шли по знакомой улочке. Затем я произнёс:

– Но... ведь уже сутки, как он уехал. Что произошло, если за целые сутки он не остыл?

– Ничего существенного не произошло. А сутки... в эти сутки он сосредоточенно выбирал казнительное слово. Ну, я ему сейчас напишу!

– Не надо сейчас, это перевод обыденной размовки в долгую схватку.

Она послушалась. Мы больше об этом не вспоминали, однако милый-размилый её Дрю теперь уже прочно засел в моём трухлявом черепе расплавленным осколком.

Через некоторое время Женя поведала вещь, от которой я вовсе содрогнулся:

– Там у них в Москве один его подручный – родственничек большого чина. И он вдруг нагло

ударил Андрея в лицо. А Андрей сказал: что же так дворово драться. Давай отойдём в сторону, снимем куртки и как два нормальных боксёра выясним отношения. Они отошли и Дрю уделал того родственника так, что кровь лилась на землю. На другой день Андрей пришёл, удовлетворённо посмотрел на эту кровь и потом в подробностях рассказал мне.

В её голосе тоже чуялось удовлетворение. Я ответил:

– Милая моя. Так твой муж не только патологический жадина. Он ещё патологический садист. Я, будь ударенным, просто бы кинулся, не видя ничего перед глазами. А тут такое смакование — снимем куртки! полюбуемся на кровь! расскажем супруге в подробностях! Извини, это садист.

Женя была очень моей тирадой недовольна:

– Как же так, ты пойми, его ударили ни за что.

– Его ударили скорее всего за занудство.

Она обиделась.

Размовка не первая и не последняя. Обиды забывались, встречи длились, такие же волшебные, хотя прошло уже больше года. Но мы всё так же гуляли, ничего не видя вокруг, улыбались по-прежнему свежо и счастливо.

Должен сейчас сказать о её внешности. Женя была стройна и неказиста. Но я уже в том возрасте, когда неказистая внешность видится очень красивой, а красота часто предстаёт конфетной, телевизорной. В общем, внешность не играет никакой роли. Когда я смотрел на Женю, я видел, даже, с позволения сказать, как-то осязательно видел свои счастливые прикосновения к ней.

В то время в Москве умирал совершенно блестящий актёр Пороховщиков. Его, старика, положили в реанимацию, и сказали довольно молодой жене, что он не проживёт до утра. И она, верно прожившая с Пороховщиковым более двадцати лет, в ту же ночь покончила с собой.

Утром диагноз актёру отменили, и он целый месяц после этого спрашивал врачей: где она? почему не приходит? И умер, ничего не узнав; и не поняв её отсутствия. Может, от того и умер.

Но не о том хочу сказать. Сейчас этот интернет... он, конечно, абсолютный прорыв. Вроде изобретения атомной бомбы. Когда говорят, что он помойка, дерьмо и всё такое... всё истеричная неправда. Это вещь, давшая новую вселенную. Так вот, я тогда прочёл комментарии на сообщения о самоубийстве той жены.

Знаете, я порой и футбольные болельщицкие комментарии почитываю, но сами понимаете, что это такое; сплошное бранное убудство. Даже матерные слова виртуозно переиначены, лишь бы смертно укусить, отгрызть спорщику горло. А тут...

Впрочем, чего там – такие же скотские, лающие комменты идут в адрес всех, часто самых святых и высоких понятий. Анонимно-псевдонимно, по закону толпы, полощут патриарха, кромсают отчину, всё изначально светлое, неприкосновенное.

И здесь тоже были десятки, сотни циничнейших ругательств по поводу разности возрастов, взаимной расчётливости, сладкая перепасовка грязными слухами... когда ещё тело несчастной женщины не вполне остыло...

Даже предсмертную записку в сеть выложили – через два-три часа! Кто? Естественно, освидетельствователи. Нет, не они; они просто сразу же кому-то продали фото.

Я тогда остро понял, что почти все люди – гиены и скунсы. Все так или иначе больны толпизмом, ведь в стае легко дать волю своему затаённому, врождённому зверству. А нет толпы, находят ей не менее извращённую замену в виде «общепринятых норм», «законов чести», «благородного возмездия». Да...

И однажды мне пришла субботняя эсэмэска. Я был в деревне с друзьями. Женя написала: «Андрей меня избил. Лицо – месиво. Не приезжай, не отвечай на звонки».

Конечно, я мгновенно послал ответ: «Со мной полковник милиции, позволь ему сейчас же поговорить с твоим мужем о последствиях. Что произошло? Если надо, мы тотчас приедем». Она запретила: «Ни в коем случае!».

Ребятам я ничего не сказал, постарался, чтоб они не заметили во мне перемены. Назавтра вернулись домой, привычно-весело расстались.

И вечером мне был звонок. Я посмотрел: вызов от неё. Нажал; там прыгал-рыгал пьяный голос Андрея. Я послушал с полминуты, до слов:

– Чего молчишь, мудака?

Тогда я заорал:

– Кому какого хрена надо?

Он осел голосом, переспросил:

– Алё, это вы, Георгий Викторович?

– Это я. А ты кто?

– Это Андрей.

– Ой, прости, Андрей, – продолжил я игру. – Я думал...

Он снова рванул:

– Чего притворяешься! Ты трахал мою жену!

Я понял – ему всё ясно; но как и почему, не знал; был уверен, что ему кем-то нашёптано, а это ерунда; и потому я сыграл бешенство:

– Ты идиот, что ли? Да сейчас приеду и череп тебе раскрою!

– А приезжай, физкультурник! – хрипло засмеялся Андрей.

Он знал про мои спортивные пристрастия, но был, хоть и пьяный, уверен в своей боксёрской неуязвимости. Я сказал:

– Дай телефон Жеке.

– Только я имею право звать мою жену Жекой! – вскричал он, но телефон, постучав в запертую дверь другой комнаты, дал; напоследок, как главный аргумент, победно добавив: – Я буду рядом подслушивать.

Я услышал в трубке её тихий, потерянный, почти неузнаваемый голосок и как можно спокойней сказал:

– Женя, что случилось?

– Я не думала, что все вокруг так следят за нашей нравственностью... – уронила она и тут же вернула телефон, и муж радостно крикнул:

– Слышал? «За нашей!»! За вашей! Приезжай, я тебе такси оплачу!

Этот глупый в такой ситуации обломок скопидомства, то есть показной копеечно-куражливой щедрости, неотрывной черты скопидомов, показал, что автомеханик в глухой, смертельной истерике, и ехать разбираться нет смысла. Женя успокаивала мужа, говорила: «Андрюша, наш мальчик плачет», а он длил припадок, крича мне:

– Я тебя убью! Нет, лучше искалечу! Чтob всегда помнил, как уничтожить чужую семью! А вот эту сучку убью!

– Не тронь и пальцем. Не то сейчас к тебе приедут три мужика, увезут и выбросят в загородной канаве, и никто не поймёт, от чего ты подох.

Может, это подействовало, а может, ему надо было скоро вызывать такси к поезду, но он оборвал разговор, и уже без крика.

После этого я думал до утра, не зная, что и как. На рассвете, когда уже наверняка поезд вёз Андрея к его золотой столичной ремонтной канаве, позвонил Жеке. Она ответила не сразу. Её телефон валялся где-то на полу, но не разбитый, она нашла его по звонку и устало сказала мне:

– Верхний сосед, с которым я так воевала, дал Андрею диск со звукозаписью моего с тобой интима.

Да, это был удар. Более гнусной вещи нельзя и придумать. Мы что-то ещё говорили, но я не помню. Помню, я в тот день звонил несколько раз, лез с советами, что, мол, надо задокументировать побои, ещё что-то. Говорил дурь, но лишь потому, что хотел поддержать её, не оставлять наедине с таким страшным поворотом жизни.

– Может, приехать к тебе, помочь чем, в магазин за продуктами сходить? Приехать?

– Хренушки, – ответила моя любимая блондинка совершенно необычным для неё словом и тоном.

Через день позвонила уже она и подрагивающим голосом сказала:

– Знаешь, я всё сделаю сама. И со своим мачо разберусь сама. Сама, понимаешь? А ты можешь жить спокойно.

Она частенько употребляла мои слова, и ненавистное мне «мачо» я тоже неделю назад, в счастливую ещё неделю, шутливо ввернул совершенно походя, безадресно, а ей, видимо, понравилось и она его сейчас, что называется, обналичила. И меня, дурака, это сильно укололо. Я представить в тот миг не мог, что главные и самые роковые тут слова совсем иные, а именно: «можешь жить спокойно».

Но уже через полчаса уяснил их смысл, они означали: исчезни из моей жизни.

И ещё вот это её «сама». Эти женские фразы насчёт «сама» я прекрасно знаю. У меня жена была такая. О ней я потом скажу. А теперь я Жене написал:

«Сотри мой номер. Я твой тоже сейчас стираю».

И стёр. И всё, наши отношения прекратились.

Потом я узнал, что всё у них стало нормально; хотя сначала он вопил, что разводится, что она стерва, и прочее; как это обычно и бывает, когда люди подспудно не хотят расставаться.

Месяца через два я позвонил ей на домашний. Она ответила на «вы» и положила трубку. Я не ждал того; понимаете, я по-прежнему считал, что это мой родной человек. Самый близкий, которого надо всегда защищать, любой ценой. Оказалось, совсем не так, ей моя поддержка была вовсе не нужна, она сразу же, намертво, вычеркнула меня из своей жизни. Ей нужно было залатать безобразно рваную семейную прореху, и она залатала её терпеливо и чистенько.

И прошла зима, я ещё раз звонил, и ещё раз она положила трубку. Она помыслить не могла, что я с ума сходил всю эту зиму. Вот так я устроен, что не верю в кончину того, что даёт, давало мне

жизнь. Как же так? как же так... — мысленно повторял в чёрном отчаянии.

Настал апрель. Поехал я к себе в пустынную деревушку. Уже в пути понял, что не спасусь и там. И выйдя из автобуса, ступив на пешую раскисшую тропу, снова вдруг позвонил. И снова она не восхотела говорить.

Кончилось тем, что местные мужики, бороздящие распутицу, вынули меня из морозной лужи совершенно бесчувственного от прямо из горлышка выпитой на ходу литры. То есть, я умирал. Я уже умер. Они довезли меня на тракторе до моей сирой избы, переодели, закинули на печь и протопили её. И я выжил, даже не простудился.

Через неделю вернулся в город и мне сказали, что её Дрю умер. В тот день, когда я умирал в луже. Знать, в тот день боженька выбирал, кого из двух её мужей забрать, а кого оставить на муки.

4.

Здравствуйтесь, простите, голова раскалывается, сейчас под благословенный стук колёс вот эту двухсотку коньячку хлопну, только не пугайтесь, что залпом, такой вот я урод — и продолжу. Что? Отчего умер Андрей? Я вчера говорил, что он умер? Странно, он не должен умирать, это я что-то спутал, с какой-то другой историей, вовсе даже не моей. Так, тогда знаете что? Вернусь к тому чудовищному вечеру, когда он мне звонил. Ну, помните, он сказал приезжай, я даже за такси заплачу. Ну, ты жлоб, сам заплачу, ответил я, а встретимся в парке, что возле твоего дома. Через полчаса.

Я знал, что через полчаса он меня прибудёт. Поскольку боксёр, а я обычный драчун; и к тому же пьян не хуже его. Но у меня был небольшой бинокль, я мгновенно его разобрал, отсоединил один окуляр с капроновым шнуром. Получилась... как это... нунчака, что ли. Нет, кистень. Я левша. Думаю, когда полезет, хлестну его по правому боку, по ударной руке, сломаю, ну что же; лишь бы по позвоночнику окуляр не пришёлся. По голове бить и близко нельзя, вправду проломит.

Ни слова не говоря маме, которая, конечно же, всё слышала, но знала, что отговорить меня невозможно, я вышел, поймал такси и поехал к парку.

Андрей ждал, не качался, готовился, как у него заведено, садистски-ритуально предложить

скинуть куртки. Был первый осенний заморозок, окуляр лежал в руке с намотанным на кисть шнуром. Я не хотел драки, поскольку ещё, если помните, не знал, что гнусный сосед дал ему диск с получасовыми криками Жеки, что Андрей три раза прокрутил его на всю громкость, всё более зверея от незнакомой сладости, испытанной женою, и под третью прокрутку размеренно и скотски бил онемевшую Жеку кулаком по лицу в такт тем её сладким вскрикам.

Андрей стоял в отдалении и оттуда злорадно сказал то, чего я и ждал:

– Ну что, снимем курточки?

Он представлял себя Костей Дзю в расписном блескучем халатике под светом софитов.

– Нет, – ответил я. – Ничего плохого у меня с Женей не было. Я просто в ответе за неё, как за свою ученицу. Научись это понимать. А играть в телевизорные обряды не будем. Ты изувечил безответную жену, значит, и я тебя изувечу не по правилам. Вот этим.

И раскрыл ладонь с окуляром.

– Ножик, что ли? – расхохотался он. – Я знал, что ты из уличных уркаганов. И на этот случай тоже кое-что прихватил. Знаешь, как ножом кровь на хлеб намазывают?

И он вытащил длиннющий кухонный нож, мне вообще-то знакомый. Когда видел его в руке худенькой, ещё не одетой Жени, ловко режущей батон под наши с ней подкрепляющие бутербродики, ужасался острию; я инстинктивно боюсь всего режуще-колющего, с детства, когда напоролся всей пяткой на торчащий из доски гвоздь.

– Хорошо, кидайся.

Он кинулся, я без замаха мотнул рукой; шнур, как хлыст, метнулся ему навстречу, неся всю свою разгонную силу на самом конце, там, где был стальной хромированный окуляр; и тот вцепился Андрею в бок, сломал два ребра. Этим всё кончилось.

Он упал, скорчился, застонал, проскрипел:

– Нечестный бой.

– Какая с тобой может быть честность... Ты бил любимую женщину. Не мою любимую, а свою любимую. Вместо этого надо было просто позвонить мне.

– Откуда знаешь, что бил?

– Давно понял, что ты расчётливый изувер, выросший на истязаниях кошек. Сумеешь встать и дойти домой?

– Дойду, – ответил он.

И дошёл.

После я узнал, что он с помощью Жени забинтовался и уехал в ночь, на московскую работу. Дальше была зима, мои муки, звонки с бросаниями трубок, это я уже рассказал. И мутный ход по распростёртой апрельской тропе, весь день — я ведь позвонил Жеке после утреннего автобуса, а мужики нашли меня в луже на полдороге уже вечером — всё так. Историю вчера я рассказывал правильно. Просто слухи о смерти Андрея оказались, слава Богу, ложными. Он в тот день попал в автокатастрофу, но выжил. Стал инвалидом. Тяжёлым, на коляске. И потом нам снова пришлось встретиться.

5.

Он мне позвонил сам. Он сказал:

– Прости за всё.

Представляете, Андрей у меня просит прощения. Андрей, ставший колясочником по моей вине. Неловко сросшиеся рёбра наверняка сработали на катастрофу. Он же был ас не только ремонтный, но и водительский, мастерски учил богатеньких ездить без всяких там навигаторов.

И в тот апрельский день, мча навороченную машину, он вдруг почувствовал в боку застарелое жжение, фантомный рёберный укол. Или, что ещё страшней, сердечный укол горчайшего воспоминанья. И теперь из-за моего бесцеремонного входа в его жизнь он – никчёмный инвалид.

Дрю сказал:

– Не говори моей жене, что я тебе сейчас звоню.

– Я давно не общаюсь с ней, читать лекции-то давно бросил.

– Давай увидимся.

Конечно, я ответил да. Мы встретились в том парке. Он уже научился обращаться с коляской. Ладони у него были крепкие, натренированные на машинных штурвалах, и рукопожатие его показалось совершенно искренним.

Я сел на траву возле его скорбных ног, спросил:

– Так можно разговаривать?

– Изволь, Викторыч.

– И о чём будем толковать? – тут я почувал, что взял не тот тон, и перебил сам себя: – Конечно, я свинья. Не знал, что так выйдет. Теперь я обязан всегда вас беречь. Тебя и твою семью.

И снова услышал напыщенную фальшь своих слов, снова поправился:

– Нет, лезть в вашу жизнь ни в коем случае не буду. Просто хочу, чтоб у вас всё было хорошо. Помогу во всём, знай.

– Да я понимаю, – как-то сочувственно ответил он. – Я понимаю, что ты классный мужик.

Это сказал якобы жадина и якобы садист. Мне, его губителю. Он смотрел спокойно, слегка вопросительно, но со странной неуловимой веселинкой. Андрей сказал:

– Ты разобрался, что такое моя жена?

– Да, она приятная женщина, но у меня с ней были чисто рабочие контакты и обычно по её инициативе. А этот соседский диск... Ты же знаешь, как классно сейчас можно симитировать и смонтировать любую запись. Голос Хилари Клинтон можно спокойно наложить на голос дедушки Ленина.

Я был слишком говорлив, это выдавало моё волнение. Но я помнил, что в любовных разоблаченьях нельзя признавать очевидную и доказанную правду, надо предлагать приемлемое враньё. Так честнее и добрей. Правда казнит.

– Да ладно, – сказал он, – дело закрыто, говоря по-вашему, судебно-лекционному. Викторыч, вся жизнь соткана из безумной путаницы. Слушай, совершенный пустяк из моей юности. Друг повёл меня к новой подружке, ну, чтоб я, как приличное компанейское прикрытие, сначала позволил ей впустить нас, а потом после небольших возлияний слинял, оставив их наедине. Друг подзабыл адрес, долго тыкался по дворам, потом увидел на стене надпись «яфаню» и обрадовался: «Вот её подъезд!». Я спросил: «Что за яфаню»? Он пояснил: «Ну фэ это не фэ, а сердечко, просто так коряво нарисовано. Оно переводится как люблю, у малолеток сейчас принято. То есть это читается просто: «Я люблю Аню». Я возьми и шуточно брякни: «Многие же любят эту Яфаню». Друг взбесился, поскольку подругу как раз звали Аней, и та уже выцветшая надпись, возможно, вправду была адресована ей, когда-то малолетке. Мы так разругались, что я ушёл от подъезда, а его одного благовоспитанная Аня пускать постеснялась, и они не сдружились, и друг мне того никогда не простил. Видишь, какая фигня? У меня та дурацкая Яфаня осталась в памяти как пример бешеной жизненной перепутаницы. Ну рисуй же ты, неведомый гад, сердечко аккуратно! Из-за тебя, двоечника, через пять лет друг потерял друга, а тот друг — подругу. Путаница абсолютно ненормальная. А может быть, именно как бы нормальная, повсеместная. Представляешь, из-за таких микронных, на уровне пыли, недопони-

маний целые войны вспыхивали и вспыхивают, что семейные, что международные. Представляешь?

Постоянно сидящему почти взаперти Андрею, видимо, сейчас не с кем было говорить. Зато приходилось много думать.

Он глянул на меня с каталки сверху вниз, потому что я по-прежнему сидел в траве, смотрел на свои коленки и заблудших муравьёв, бегающих по ним. Я поднял взгляд на его последнее вопросительное слово и увидел глаза, налитые слезами.

– И вся жизнь это сплошные трагедии, воспринимаемые со стороны как обыденность, в силу их многочисленности, даже тотальности.

В общем-то, я не ожидал таких мыслей от этого, как мне раньше казалось, совершенно низменного человечка. Я растерянно сказал:

– Дрюха, ты прости, мне пока тяжеленько с тобой. Слушать я могу, говорить не могу. И не потому, что виноват, а...

– Никто не виноват. Виноват этот случайный схлёт, обыденно спутанная картинка жизни. Как та картинка-буква... Я теперь понимаю, что всё началось с истерик жены по поводу соседских музык.

Он тоже, как Жека когда-то, нажал на «ы».

– Сосед сейчас прижух, и музык больше не заводит.

Голос его был отстранён, вовсе не тот, когда мы встречались втроём, и Жека на его уверенные, убеждённые в собственной правильности тирады заговорщицки подмигивала мне, а я стёрётся тех подмигиваний, мне было неприятно, я сразу чувствовал пошлость ситуации, всей той игры.

Причём, Жека при мне раза три элементарно гавкнула на мужа, хотя наедине уверяла, что именно он семейный узурпатор. А он на все три гавка промолчал, и я тоже отметил это со смутным удивлением, но потом забыл.

Зато сейчас я вспомнил те штришочки и быстро перестал дивиться его новому голосу, не обличающему, не притворно-уничижительному – а детски-доверительному. Впрочем, он заметил и пояснил ещё доверительней:

– Знаешь, мне некому всё это сказать. Не жене же...

В последнем слове была такая интонационная сбивка, покорная и саркастическая. Я не кивнул, поскольку тут было запредельное передо мной откровение: не жене ЖЕ.

Он продолжил:

– Все друзья, конечно, в меру своих сил и порядочности меня пожалели, навестили. А сейчас чувствую себя одиноким. Жена меня лелеет, возит коляску, хотя я и сам научился, мы же, помнишь, на первом этаже. Выезжать просто, по семи ступенькам.

– Почему ты позвонил мне? – перебил я, истерпевшись по главному. – Я ведь, по всему, твой смертный враг. Я лично так не считаю, но ты должен считать именно так.

– Нет, теперь не считаю. Год жизни – громадный сгусток времени. Для обычных людей год пролетает незаметно, а для меня как постылое бессмертие. Целую бесконечность думал.

Он думал... Тот, кто, по моим прежним понятиям, умел думать лишь о гривенниках. И мне стало даже радостно от своего открытия.

– Ты, Викторич, вправду не говори Жеке о нашей встрече. Я не знаю... просто я хотел погулять с тобой. А не с ней.

И снова скользнуло в его голосе обречённое. Нет, не обречённое – решённое. Как будто даже презрительное. Не ко мне или себе – ко всему сущему.

– Мой старший брат аж у Тихого океана. Он под другим именем, его разыскивают. Двадцать лет назад был в дешёвом кафе с тремя друзьями. На них наехала сидящая за соседним столиком нерусская шпана. Да так, что брат ткнул одного отвёрткой – ножа он не носил, а отвёртку в карман клал, городская окраина всегда беспокойна. Думал, за отвёртку не привлекут. Привлекли, потому как шпанюк тут же отдал аллаху душу. Брат смылся прямо из кафе. Да не куда-то, а за кордон. Чёрт его знает как. Притом, помотался по свету, шарик весь обогнул и снова оказался в России, только с другого боку. Родичи того шпанюка оказались богатенькие, мать затерроризировали. Чуть не били, требовали неподъёмный откуп, иначе брату, мол, потом и в тюрьме не выжить. Ну ладно, успокоилось, брат иногда звонит матери по секретной мобиле, девку там китайскую нашёл... А мать плачет, говорит, он теперь даже на похороны приехать не сможет, сам себя в пожизненную ссылку вогнал, живёт, считай, возле тех же колымских рудников. Ну и стал я копить денежку, чтоб тайком к нему съездить, а может, и маму свозить. Копил-копил, настоящим крохобором сделался.

При этом слове мне стало стыдно. Ведь крохобористый человек никогда себя крохобором

не назовёт. Тщательно подберёт любое иное слово – «хозяйственность», «бережливость» и прочее.

– К чему я? Да к тому, чтоб ты понял, почему я иногда запрещаю жене тратиться. Хотя она и так денег не мотала, не разбрасывалась. Я о себе. Это совершенно незаметно, как из нормального человека вырастает скареда.

Я слушал, не перебивал. Только думал, почему он говорит именно об этом. Как он вычислил, что его вина именно в этом. Если прижимистость можно назвать виной.

– Послушай, Андрей, не будем больше. Тут всё ясно и вполне простительно. Скажи лучше, почему ты так любишь смаковать кровь?

– Да просто я двадцать лет представлял на месте любого не понравившегося мне человека того гниду, так подло сдохшего от удара коротенькой отвёртки.

– Хорошо сказал: подло сдохнуть. Тебе самому приходилось убивать? Не людей, а вообще.

– До семнадцати лет не мог ни одной живой твари сгубить. Когда друзья лягушек били, я убегал и плакал.

Странно, подумал я, врёт, подумал я.

– Но это же наоборот должно тебя отвращать от крови.

– Я так тоже думал. Но что-то в башке у людей работает против сознания. В семнадцать лет мать принесла откуда-то живую курицу и попросила меня зарубить её. Мы выросли без отца, брат был где-то на шабашке и к его приезду надо было хотя б разок сделать наваристый суп. Я много раз видел, как сосед, не вынимая папиросу изо рта, тюкал топором курицу, уложенную шеей на топчан. И со знанием дела тоже тюкнул; но курка трепыхнула крыльями, выпала из моей руки, запрыгала по двору и обмарала хлещущей из шеи струёй все стены сарая. До сих пор помню те жуткие пятна на белой стенке. Почему они из моей памяти не стёрлись? Почему я их и сейчас вижу? Значит, что-то во мне сидело, подспудное; то, чего в детстве не знал никогда. И я хотел это истребить. И может, оттого избил министерского выкормыша...

Он вопрошающе на меня посмотрел. Я подумал, что надо ответить; не осуждающее, не одобряющее, не нейтральное. Я сказал:

– А у меня патология настоящая, врождённая. Панически боюсь оружия и острых предметов. Я даже сломал кончики всех своих кухонных ножей... Но представляешь, Андрей, с годами

я пришёл к тому, что будь у меня десять патронов в пистолете и поставь передо мною мною же названных десять негодяев моей жизни, я бы, глядя в лицо каждому, с двух метров, не размышляя, не сомневаясь, вlepил бы пулю в лоб; каждому из них.

6.

Он со своей коляски долго смотрел на меня, молча сидящего на траве, потом сказал:

– Да... Ты в самом деле стоишь моей жены. Ты будешь её любить, когда я умру?

Я ответил:

– Во-первых, ты не умрёшь. А во-вторых, я её никогда не полюблю. Раньше казалось, что люблю. Теперь точно знаю, что никогда не полюблю.

– Почему? – напряжённо спросил он.

– Не знаю, – честно ответил я. – Если скажу, что она демонстрировала мне свою ненависть потому, что поняла свою вину перед тобой, это будет неверно. Если скажу, что женщины очень умеют демонстрировать себя в роли жертвенниц, это будет вообще сатанизм... Наверное, она просто в самом деле любила и любит тебя по-настоящему.

Он махнул рукой:

– Давай уж мы, два мужика одной жены, про любовь не говорить. Тем более, женскую... В молодости Жека была эмансипэ воинствующая, навязывалась в мужские сплавы по лесным рекам. Ну знаешь, на байдарках там, плотах. Да ещё командовать лезла. Когда-то мне сказала между делом, в каком-то полуспоре: «Не могу терпеть мужчин, если я одна, а их трое». Разговор куда-то тёк, фраза, как щепочка в реке, скользнула незаметно – но в моей памяти осталась. Трёх нельзя стерпеть... В одной палатке или ещё где. Ну, потом догадался, что там, скорей всего, был какой-то их обыденный молодой группешник; из четырёх; и третий мужичок, видимо, оказался командирше уже не по силам. Хоть она и эмансипэ.

Мне сделалось неприятно, я предложил потолкать его коляску к дому. Он согласился. И я довёз его до подъезда. И на ступеньках стояла Жека.

Она не ожидала увидеть меня. Но не покачнулась – и, наоборот, не обняла браво нас обоих, что было бы худшей фальшью.

Просто по её лицу побежали цвета побежалости, простите за каламбур. Цвета побежалости – это из технологии металлов, мне один

инженерный клиент рассказал в свободную минутку. Говорит, разгорячённая железка при остывании меняет окраску лучше той радуги. Вот так и у Жени щёки пошли переливчатым цветом.

Я видел её смятенную потерянную – и видел радость Андрея. Он подал мне руку, его рукопожатие не могу назвать по примеру пламенных сочинителей крепким – это было пожатие родства. Неожиданным, но подспудно ожидаемым, после такого разговора.

Я кивнул обоим, повернулся и ушёл. Ни одного слова не было произнесено в ту минуту никем из нас троих.

7.

Потом мы говорили с ней.

– Понимаешь, что ты сделал? – сказала она.

– Нет, – ответил я.

– Ведь он тебя считает единственно близким.

– С чего бы?

Я говорил холодно, даже, может быть, чуть ненавидяще. Мне действительно не хотелось говорить с ней.

– С того, что он мне всё рассказал. То, что и тебе.

– Да?

– Да. Да, я сломалась, когда меня имели четверо мужчин.

– Трое, – поправил я.

– Ну да, – вызывающе ответила она. – Давно и далеко, на Урале. Но это сейчас ничего не решает.

– Абсолютно ничего.

– Понимаю, – вздохнула она. – Теперь, когда между нами троими всё известно, ты не позволишь себе прежнего.

– Ты тоже. Одно дело любить женщину, мужа которой презираешь или лучше вообще не знаешь; и совсем иное, планетарно иное, когда знаешь его как настоящего человека.

– Значит, тогда я не настоящий человек? – сказала она.

– Перестань, – поморщился я и перевёл на другое: – Скажи лучше, как с бытом? Андрей работать не может...

– Ну, без куска хлеба вообще-то не сидим. Каши едим.

– Ты, конечно, мою помощь не примешь. А Андрей?

– Он тоже не примет от тебя ни копейки.

– Я думаю о вашем сынишке. Ты меня с ним познакомила, но во время наших прогулок он смотрел на меня букой.

– Подспудно ревновал тебя к папе.

– Скажи, что мы с его папой всегда были друзьями, и что я хочу быть другом и ему. Как он вообще-то?

– Начинает многое понимать. Убегает на целый день в другие дворы, лишь бы из дома. Десять лет, сам знаешь. Мы волнуемся, Андрей съезжает со ступенек его искать. Я чувствую, что для мальчика становлюсь не авторитетом.

– Это впрямь возрастное. Это не потому, что он что-то угадывает. Он вообще ничего не должен знать, никогда. Вы сможете всё приемлемо объяснить?

– Конечно. Всё ужасно, но просто: папа попал в катастрофу. А дядя Жора куда-то уехал.

Дядя Жора – это я. Да будет вам известно.

– Если же понадобится, скажете, что дядя Жора приехал.

– Ты знаешь, он совершенно необыкновенный мальчик.

– Ну конечно. У всех родителей их дети необыкновенные.

– Нет, просто он чурается всех. Когда к нам приходили Андреевы автомобильщики, он забивался в свой угол и даже не здоровался. Так что не только с тобой он бука.

8.

И вот я, совершенно обыденный человек, презирующий свою работу, ненавидящий толпу, сквозь которую пробираюсь каждый день, вовлечён в нескончаемую ненормальность – из-за пустой своей интрижки.

И теперь мучаюсь над смыслом жизни, думаю о том, что должен делать. Вокруг какие-то телевизорные игрища; да не то что игрища, а настоящие шабаши, на кои смотреть пытка. Прости меня, Господи.

И я, уныло живущий с одинокой мамой, которой тоже в пору сесть в инвалидную коляску; что дни проводит среди таких, как она, дворовых скамеечниц; что старается не мешать, а оберегать; отказавшаяся даже от собаки, с которой мечтала гулять. «Нет, зачем тебе ещё один родной субъект», сказала она, и запретила покупать ей собаку. Субъект, выбрала же слово.

Она, конечно, хотела сказать «родное существо», из-за которого потом мне же придётся постоянно умирать по причине его болезней, чиханий и неестественной для любого домашнего зверя квартирной маяты в ожидании

ежедневных выгулов, лягушим на меня дополнительной нагрузкой.

А что меня нагружать. Мне уже как-то всё равно; гулять с псом, либо выслушивать нервных сутяжников. У балкона по ночам млеют от сладких виражей летучие мыши, когда-то они чаровали стремительной бесшумностью; сейчас бессмысленно смотрю на их виражи. На полках много прекрасных книг, но читать их не хочу, не могу.

Иссякла жажда жизни? Есть масса жизнелюбов, смешно желающих прочесть всё на свете, всё значительное, всю классику. Той классики миллионы томов. Это как дружить с миллионами хороших людей, населяющих землю. И ведь вправду знакомятся. Лезут побывать на сотнях спектаклей, поторчать на сотнях презентаций, концертов.

И считают, что если они не побыли хоть на каком-то из них, то сейчас рухнет мир.

А ведь каждому из нас нужен один, буквально один понимающий собеседник. И большинство из нас этого собеседника-друга — не имеют. И тоскуют именно без такого, единственного.

Тем единственным собеседником становится любая великая книга. И не нужны тысячи. Все эти тысячи говорят об одном: о борьбе добра и зла. О том, что зло всегда побеждает. Заметьте – именно зло. А не добро, как утверждают оскотплённые школьные хрестоматии.

Просто сила правды совершенно в ином: всегда побеждённая, она тем не менее всегда возрождается. Это и есть феномен Божьей силы. На нём и держится бессмертная земная жизнь и вся наша вековечная вера в правду.

А устремления бежать на сборища, где жуётся жвачка о добре в любом его проявлении – то же чувство стаи. Быть в стае культурных; читать и толковать о «новом», только о «новом». Оно, это новое, забывается через полгода. Я, знаете, никогда не любил новой одежды. Блестящие пуговицы выглядят глупо и быстро тускнеют.

Настоящее никогда не броско, поэтому настоящим его признают лишь через десятилетия, до которых мы не доживём. Так зачем же тратиться на нынешнее, когда есть отсеянное временем, надёжное, отобранное по крупичам.

Тем более, что новое есть лишь повторение старого; которое было и сто, и тысячу лет назад; всё то же стремление удивить, эпатировать, выскочить в первый ряд.

Ах нет, мы читаем только классику! Мы истребляем себя на поглощение классики! Между тем, вечная схватка добра и зла без всяких книг постигается любым нормально думающим пастухом.

И как часто неграмотный человек становится тебе невероятно интересен, даёт тебе такие откровения, которых ты не постигнешь даже по прочтении 299ти Классиков, не то что там 2299ти новомодных.

Надо ведь не поглощать, а мыслить. Сколько есть напичканных начётчиков, бодро сыплющих цитатами, но уровень собственной их мысли порой не выше детской мудрости о том, что «ночью бывает темно, а днём светло».

Почему я уже много лет содрогаюсь при виде любой новой афиши, яркой, кричащей. Почему я в минуты редких отдохновений убегаю в затрапезную деревню. Где пять домиков, где можно быть одному целую неделю и не видеть ни одного человека. А отдалённая бабушка угостит молочком и скажет самые простые фразы или просто выслушает.

И как целительно посмотреть на облачную волну, встающую из-за утомлённого горизонта, скрывающего, смывающего далёкие сатанинские пляски цивилизации; и посмотреть на тихую луну, зная, что те пляски сейчас до тебя не достанут.

Всё это, конечно, от моей мамы. Она у меня умница. Она выросла в деревне; когда-то, после смерти папы, я её вывез в город. На скамейках она сидит, но с неохотой, поскольку там тот же пустой гомон, что и у нас после концертов да ораторий.

Как же это в мире повторено и загенетизировано. В любом уголке, на любом этаже достатка разговоры одинаково скучные.

У любого зверя, а особенно у человека есть патологическое желание власти вожака и желание того вожака сбросить; и кончиками ободранных, окровавленных ногтей своих стремление убить лучшего; или просто оболгать; и на властных вершинах говорят о том же, о чём бабушки на завалинках. Потрясающе, почему этого никто в себе не видит.

Нет, это видят великие философы, схимники, отшельники; их якобы чтут, безбоязненно записывают в святые – зная, что они не метят на сытное вожачье корыто.

С другой стороны – подумай – таких много быть не может, иначе все погибнут. Мир должен

состоять из большинства. Процентом на девяносто. Кому же строгать, печь, пахать? После тяжкой борозды человек должен бить жену и требовать с неё законной похмельки. Потому как отшельник пахать не будет. И хлебом снабжать мир не будет.

Вот в чём дело.

9.

Андрей мне звонил всё чаще, а она всё реже. Я считал, что так, вообще-то, и должно быть. Наоборот было бы намного хуже. Андрей рассказывал о своей прежней работе, о жизни. Мы гуляли. Я без всякого неудовольствия возил его каталку, нас уже заметили в парке.

Однажды Андрей позвонил и не совсем обычным, натянутым голосом сказал, что надо встретиться для серьёзного разговора, очень серьёзного. Я давно предугадывал, что что-то всё-таки они от меня хотят. Как компенсацию за все беды, кои им причинил.

Я чувствовал их моральное право и был согласен. Но то, что услышал, стало неожиданностью.

В общем, Андрей сказал при встрече:

– Знаешь, ты человек благородный. Никакого зла я на тебя не держу. Даже вижу, как ты помогаешь мне, как чист. Хм... Я хочу взять кредит.

Тут я всё понял.

– Для чего? – спросил нейтральным тоном.

– Хочу отправить сынишку с мамой к своему брату, окольными путями, чтобы они повидались. Ну там, через Египет...

– Помню о твоём брате, – перебил я. – Тебе нужен поручитель.

– Да, – поспешно сказал он. – Сможешь им стать? Мне не так много надо, запас кое-какой остался. Но миллион кредита я бы взял.

– Буду твоим поручителем, – сказал я без раздумья, хотя знал, что такое поручительство.

Мне приходилось защищать нескольких поручителей. Один случай сильно запал в память. Лет десять назад какая-то махинаторша, владевшая тремя киосками, вдруг подошла к киоскёрше, своей безответной подчинённой, и сказала:

«Маш, ну вот я хочу расширять бизнес, прикупить ещё торговых точек, потом сделать большой магазин, ты там будешь заведующей; подпишись, что ты мой поручитель, законы сейчас такие идиотские, кредит без поручителя не дают, а это простая формальность».

Маша была от неё очень зависима, её в своё время обманул муж, она с трёхлетним ребён-

ком ютилась в полуразрушенном домике на три семьи, у неё была комнатка, полкоридора; перебывалась как-то. Махинаторша её привечала, как казалось Маше; и конечно, девчонка подписалась. Сказано же, простая формальность, зачем упираться, благодетельницу в неловкое положение ставить, она ведь когда-то спасла от голодной смерти, от безработицы.

Через некоторое время пришёл срок платить за кредит, но кредит тот благодетельница не выплатила, сказала, что у неё нет никаких денег; и денег у неё в самом деле не было. Киоски процветали, однако были записаны на всяких племянниц.

К Маше пришли судебные приставы и сказали, что вот по постановлению суда вы как поручитель должны погасить весь кредит. Девчонка, мало понимающая даже в русском языке, хоть и чисто русская, не знала ни одной буквы закона, и так далее, и тому подобное.

Она знала, что в мире процветает зло, а её благодетельница есть маленький кусочек добра – и, несмотря на то, мать-одиночка почему-то окзывается должницей. «Это же была формальность, – растерялась она, – у меня до получения на хлеб осталось, и сколько мне платить?». «Столько-то сотен тысяч, – сочувственно разъяснили ей, – это примерно столько же, сколько стоит ваша комнатка. Так что вам придётся её освободить». Молодая мама одна, ни родителей у неё, ни родственников. Тут все эти женские слёзы, всё это отчаяние...

Я был у неё защитником, у этой бедной несчастной девчонки. Проиграл суд, его нельзя было выиграть, как я ни давил на моральные чувства. Мораль уже в то время перестала кого-то интересовать. Комнатку Маши просто заблокировали, сказали выселяйся; но дело было зимой, и закон тут имел послабку, зимой нельзя выселять. Там была масса совершенно гнусных перипетий с отключением тепла.

Единственное, я сообщил журналистам, снабдил их всеми документами, они подняли ахи-охи, хоть и пресса стала вовсе не та, что была. Худо-бедно, история обрела известность, какие-то ей пошли письма, вспомоществования, и как-то девочку выручили, её малыш не остался без крыши. Совесть даже у чиновников умирает не сразу, она капельками сочится из их отцов и дедов. Потом махинаторшу посадили, уже по другому случаю, и я добился, чтобы ситуацию с Машей присоединили к новому делу, как эпизод.

В общем, после той истории я понял ещё раз, что никаких кредитов и поручительств защитить нельзя. Кредит это сейчас вроде нейтронной бомбы, взорванной над всей страной и уничтожающей людей беспощадно. Тем не менее, я ответил Андрею согласием. В сердце тонко зазвенело, я придушил этот звон, сказал дома маме, что придётся стать поручителем. Она знала мою историю, мы с ней дружили. Она долго на меня смотрела; не слыша её ответа, я проговорил:

– Мама, отпусти мою душу на покаяние.

Ну, через год случилось то, что и должно было случиться. Андрей признался, что кредита он погасить не может, всё это какой-то государственный обман и прочее. Никто никуда не поехал. Много было объяснений, долгих, многословных. Я даже не стал слушать до конца.

– С меня нужен миллион?

– Я ни копейки с тебя не прошу. Просто объясняю: там брата чуть не забрали, всё ушло на отмазку. Жена с ума сходит.

– Ладно, успокой её. Я попробую выплатить.

Не сопротивлялся, не бился в истерике, не орал. История Маши говорила, что это бесполезно, когда стоишь у расстрельной стенки. Всему причиной врождённый сволочизм света, восстановивший Андрея (вернее, Жеку) против соседа, а потом и против меня настропавивший.

Она тоже несколько раз звонила, повинно извинялась, но в голосе неприметно слышалось... не то, что отчуждённость или остатки чувства (которого и раньше наверняка не было)... слышалось злорадство.

И ещё насторожённость. Я всё-таки неплохой адвокат, всё-таки юрист с опытом. Она боялась, что найду лазейку, не заплачу — ускользну от справедливого, видите ли, возмездия.

У меня был домик под городом. Я сказал маме, что продаю его. Обычно мама там сажала разные морковки. Она опять не говорила ни слова осуждения, так же смотрела; я видел в её глазах утухающую жизнь.

– Мы всё исправим, – произнёс я. – А пока у нас есть избушка, такая милая древняя избушка, бревенчатая, сельская, на отшибе, совсем не такая, как наш каменный дом, этот новострой, обсиженный полуголыми дачниками-огородниками; в избушке в любую жару ты будешь во всегдашней прохладце, словно в метро, а земля там золотая, а вокруг пустоши с двухметровыми травами, из которых к тебе в гости будут приходить никем не пуганные зайчата.

Мама по-прежнему ничего не ответила, лишь благодарно всхлипнула.

Однажды в мою дверь постучались. Робко так, но я подумал: «Да что же опять такое. Я ведь погасил кредит, дело прекращено».

На пороге стоял сынишка Андрея и Жени. Десятилетний мальчик, лопоухий. В веснушках, худенький. Я с ним был почти не знаком, поскольку он всех, как говорила Женья, чурался. Но меня он чурался особо; я угадывал, что он своим зверёнышным, детёнышным подсознанием видел во мне беду всей их семьи. Притом ещё те давние телефонные крики пьяного разъярённого отца...

Мальчонка бессловесно, без всякого «здравствуйте» стоял и смотрел ровным лунатическим взглядом.

– Заходи, Коля, – сказал я так же ровно, обычно, усилием воли подавив удивление и фальшивое сюсюканье, каким взрослые встречают детвору.

Мама на своих тонких подагранных ножках поднялась со старческого кресла, обняла мальчика и почти насильно ввела в квартиру. Он перетерпел объятия. Видно, ему это было неприятно. И сказал мне удивительные слова:

– Когда вырасту, я вам весь долг верну. С процентами.

Последнее, банкирское, словечко, выроненное из столь детских уст, особенно подействовало на мою маму. Она хлипнула и ушла в свою комнатку. Мальчик остался, смотря на меня. До сих пор не понимаю, какой это был взгляд. Не пионерский, конечно, что так шёл к лицам юных моих сверстников, когда мы в учительской заученно произносили: «Даю честное слово, я исправлюсь, больше этого не повторится».

Нет, в его взгляде не читалось ни такой подвижнической решимости, ни затаённой ненависти. Ни печали, ни раскаяния, ни детского желания одним словом исправить мир.

Он был обыкновенный мальчик. Родители его безумно любили. Искали его в мае, когда все дети сходят с катушек, сутками пропадая во дворах, вкушая волшебство первой в их жизни весны (в детстве каждая твоя весна, лето, зима представляются первыми, с высоты нового, на целый огромный год поднявшегося возраста).

– Да всё нормально, Коля, не волнуйся, милый.

Но он произнёс ещё более удивительное:

– Если я уйду из дома... можно мне у вас пожить?

Моя мама этого не слышала. Теперь уж я его обнял. Он не сопротивлялся. Щуплые плечики, какие и должны быть у ребёнка. И это бука? И это тот, чьего голоса я до того почти не слышал?

Когда мы прежде несколько раз гуляли втроём, он при мне говорил с Женей шёпотом, усиленно подтягиваясь к её уху, она его за это ругала, а он в ответ замолкал вовсе и на её строгие или ласкательные вопросы не отвечал.

Я специально отставал от них, говоря, что мне надо покурить, и на ходу вглядывался в странного мальчонку, без меня вдруг начинавшего счастливо щебетать и смеяться.

Сейчас он доверчиво прижался ко мне, а я только и смог ответить:

– Конечно, можно, но ты не уходи, Коля, у тебя чудесные родители, они без тебя будут очень волноваться.

10.

Где-то через полгода Коля в самом деле убежал. Андрей позвонил мне в панике, потом Жека перехватила трубку и тоже была в припадке: сынишка оставил корявенькую записочку, что уходит навсегда. Записка была спрятана между батареек телевизионного пульта, её там отыскивали почти в полночь, поэтому милиции сообщили поздно.

Я вспомнил слова Коли, но он после того раза у меня не появлялся, да и они ни разу не объявлялись, а сам я им вообще в тот год перестал звонить напрочь.

– Вы с вокзалом связались? Он мог уехать. Это не тот мальчишка, который прячется у друзей либо в стоге сена. Звоните вокзальным милиционерам, он наверняка попросился к проводнику. Пусть вычисляют по расписанию поездов и передают о нём на все ближайшие станции.

– Да как, почему? Кто пустит мальчика в вагон?

– Спокойно пустят, если он накопил денежку со школьных завтраков. Сунул не проводнику, так какому-то подвыпившему дяде, ждущему поезда. Записку вы нашли полчаса назад? А гулять он попросился пять часов назад? Значит, не мог уехать далеко. Нет, не на юга пережидать холода, сейчас уже апрель. Скорее всего, в обратную сторону, в столицу. Он точно сейчас в вагоне, лежит калачиком на третьей полке.

Почему я так говорил, не знаю. Ну что такое одиннадцать лет. Это поступки пятнадцатилеток. Но интуитивно я понял, что Коля умишком

и психикой гораздо старше своего воробьиного возрасточка.

Господи, лучше бы он пришёл ко мне... Но уже в прошлый раз он всё правильно почувал.

Через час Женя перезвонила, что поднятая на ноги милиция сняла Колю в Туле, это в трёхстах километрах.

– Я в обмороке, не знаю, доеду ли, но еду.

– От тебя он сбежит, как только милиция выдаст тебе его под расписку. Я тоже еду. Давай через полчаса на вокзале.

Тут я представил, как тяжело нам будет вдвоём, троём, и поправился:

– Или нет, оставайся, ещё тебя в поезде откачивать. Я сам его вам привезу. Только позвоните в Тулу, что разрешаете мне его забрать.

В общем, так и произошло. Мальчик сидел в тульской железнодорожной милицейской дежурке, я написал расписку, назвал родителей, объяснил всё, о чём меня спросили. Они уже тоже знали, кто я, что и почему, поэтому без обиняков открыли решётку, ласково вывели Колю за руку. По его взгляду я понял, как он рад, что тут я, а не мать.

Брать его за руку я не стал, просто сказал:

– Коля, мы едем ко мне. Родители твои согласились, что ты поживёшь у меня, сколько сам захочешь. Кончишь класс, а летом можем вдвоём уехать хоть в Москву, хоть в Сочи, хоть в шикарный сельский домик.

И мы поехали, и он спал, а я сидел у его ног и плакал. Слезы лились весь этот трёхчасовой чудовищный безостановочный перегон к дому.

11.

Вся жизнь сплошной трагический икромет. Вы с экрана много раз видели, как лосось прыгает на речной пережат. А я видел с метра. После прыжка две минуты лежит, бедняга, на боку, закрыв глаз и запалённо вздыбая жабры. Иссохший, бессильный, ободранный, в красном брачном наряде, весьма похожем на смертный.

Да ведь так и есть, после икромета эта рыба почти тут же усыпает, чтоб разложиться, скормить себя речному планктону, который вскормит вылупившихся из икры мальцов.

Вы думаете, откуда возвращаюсь? С Тихого океана, от того шального братца Дрю. Считаю, срок мотал. Условно. Условно говоря.

Как туда попал? Не успеете выслушать, через час мой город, нынешний город, не тот... Вот на всякий случай моя визитка с электронкой, коль будет интересно...

Хотя москвичами подобные истории быстро забываются в вашем чудовищном нерестилище. Тогда пусть мой рассказ останется повестью с открытым финалом, это часто бывает в вагонных исповедях. Я тоже писать не люблю, но если что, отвечу в двух словах-страничках.

2015 г.

